

18+

Александр Вегнер

Трудармия

Повесть



Александр Вегнер
Трудармия. Повесть

«Издательские решения»

Вегнер А.

Трудармия. Повесть / А. Вегнер — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-553717-1

Повесть «Трудармия» написана мной по рассказам моей матери, работавшей в трудовых колоннах, как официально именовалась трудовая армия. Это одна из трагических страниц истории российских, в частности, поволжских немцев. Но я писал эту книгу, руководствуясь принципом: «Не желайте казаться жертвами — вы герои!» Стараясь не приукрашивать, но и не очернять прошлое, описал как страдали трудармейцы, как страдали местные жители, ежедневно получавшие похоронки, как они вместе вносили свой вклад в Победу.

ISBN 978-5-00-553717-1

© Вегнер А.
© Издательские решения

Содержание

Повестка	6
Тюрьма	14
Жигули	20
Ольга Ивановна	27
Валенки	29
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Трудармия Повесть

Александр Вегнер

© Александр Вегнер, 2021

ISBN 978-5-0055-3717-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Повестка

Ревел ветер, метя по двору пыль.

«С-с-с-с», – билась она в дверь землянки.

– У-у-ю-ю-у, – выло в трубе.

В щель под дверью и в крохотное оконце уже начал пробиваться белёсый свет. Зябко. Мария встала, поёживаясь. Зубы застучали друг о дружку. А что будет зимой, когда ударят морозы за сорок!

– Мария! С днём рождения! – сказали шёпотом мать с отцом, оглядываясь на ещё спящую восьмидесятилетнюю бабушку. Желаем тебе, чтобы всё-всё сбылось, что ты хочешь.

– Чтобы война закончилась, и Андрей вернулся – ответила Мария.

– И чтобы мы домой вернулись, – мать подошла и обняла. Отец расчувствовался, глаза увлажнились, он взял её руку и долго тряс.

Мария Гейне – тоненькая, невысокая черноволосая девушка с большими темно-кариими глазами. Сегодня ей исполнилось девятнадцать лет.

Быстро натянув на себя фуфайку, вышла из землянки, вверх по земляным ступеням в мир божий. Там низкое октябрьское небо. Ветер рвёт то с запада, то с севера. Такой холод, что может пойти и дождь, и снег. Набрал с десятков поленьев из поленницы, Мария понесла их в землянку.

Мать с отцом тоже вышли. Пошли в пригон Евдокии Рощупкиной – их бывшей хозяйки, у которой они провели зиму сорок первого – сорок второго годов. Там их корова, её надо подоить и отогнать в стадо. Землянку они построили весной из пластов дёрна, а пригон так не построишь. Спасибо Евдокии, сама предложила оставить корову в её пригоне. Две коровы – курам теплее. Бабушка тоже проснулась и приподнялась на кровати. Ей целый день сидеть одной, ну, может Катрине-вейс¹ Бахман из соседней землянки заглянет.

Мария пойдёт на ток молотить зерно, а мать с отцом в кошару – управляться с овцами, которых ещё три дня назад выгоняли на пастбище, хотя они там давно выгрызли из земли не то что траву – даже её корни.

Печь загудела, Мария поставила чайник.

Как хорошо, что они построили землянку. Всё-таки сами себе хозяева, и можно делать что хочешь! В начале осени отец раздобыл немного керосина и зажёл керосиновую лампу, привезённую с Волги. Вышел из землянки во двор, посмотрел и вернулся очень довольный:

– Как в Саратове!

Сейчас лампу не зажигают – экономят керосин для особых случаев. Вечером темнеет рано, если надо – жгут лучинки, а чаще всего просто пораньше ложатся спать.

От плиты пошло тепло. Мария вышла за новой охапкой дров. Глядь, а через двор идёт отец, на плече верёвка, другой конец накинут корове на рога, словно бурлак тащит баржу по Волге. Ну не баржу, а лодку – какая из их коровы баржа? Следом мать – подгоняет её прутиком.

– Что случилось? Тётя Дуся выгнала? – испугалась Мария и побежала навстречу.

– Да нет. У неё Стюрка Шашкова сидит. Так плачет, бедная. До этого знала только, что муж пропал без вести. А вчера пришло письмо от его друга. Пишет, что своими глазами видел, как ее муж погиб. Стюрка убивается... Меня увидела – так страшно закричала: «Проклятые немцы!» Дуся говорит: «Берите свою корову, у себя подоите».

Мать концом платка смахнула слезу. Отец искал, к чему бы привязать корову. А кроме трубы нигде ничего не торчит. Передал верёвку дочери – Мария заметила, что руки у него

¹ вейс – у немцев Поволжья почтительное обращение к пожилым женщинам

дрожат. Пошёл в землянку, вернулся с топором, быстро заострил полено и вбил в землю. Привязал корову. А ветер беснуется!

Мать села доить. Мария наконец набрала дров, напихала полную печь, прикрыла поддувало – теперь бабушке до обеда будет тепло.

Мать принесла в подойнике всего литра три молока. Коровам тоже голодно: трава после заморозков высохла, загрубела, порыжела. Но пастух стадо пока выгоняет – председатель сказал: пасти до снега. А что делать! Сена в колхозе дали совсем мало, тяни до весны как хочешь. Соломы может ещё дадут... А может и не дадут.

Мать смотрит отрешённо. Говорит сама себе:

– Как теперь Стюрке?... У неё четверо детей.

Говорит она по-немецки. Стюрка у неё получается смешно. Мария и не хотела, а улыбнулась. Она и сама долго считала, что женщину так дразнят, а оказалось, местные уменьшают так имя Анастасия. Мать вдруг заплакала:

– И от нашего Андрея больше года ни слуху, ни духу...

– Он просто не знает где мы. Он живой, я чувствую. Только не знает, куда написать.

– Вода у тебя кипит. Свари яичко, может бабушка поест.

Яйцо вчера дала тётя Дуся – специально для бабушки. Бабушка еле живая. Хочет есть, а не может. От одного вида еды ей плохо:

– Не могу, не идёт...

Взгляд у неё стал необычный. Не наружу, а внутрь себя смотрит и прислушивается к чему-то, что в ней происходит.

– Мама, – говорит ей мать, – мы вам яйцо сварили, может покушаете.

– Яйцо? – переспрашивает бабушка, – ... нет, сейчас не хочу, может потом. Я ещё полежу немножко. Холодно мне... – Она снова ложится.

Отец отогнал корову к тёте Дусе, вернулся. Быстро позавтракали вчерашней картошкой и пошли на работу. Сумрачно. Холодно. За оградой на току длинное гумно – деревянный сарай. Там стоит молотилка. Ворота уже открыты. Мальчишки едут с возом снопов. Один – Федька Гофман из их села – из Павловки, из Паульского по-немецки. А другой – местный, Петька Денисов. Федька и Петька за год подружились, стали не разлей вода. Да и как не подружиться: на одной лошади работают, одинаково голодают.

На Волге матери Федьки и Марии работали поварихами в одной бригаде. Но Мария *по дому* Федьку не помнит: жили далеко друг от друга, да и разница в возрасте большая.

Дом... Теперь для немцев дом – это всё что связано с Волгой. И когда говорят: «Когда же домой» – ясно, что спрашивают не о своём рубленом доме с летней кухней, сараем, дворовым погребом и амбаром, а о родном селе с речкой Караманом за огородами, с Волгой в трёх верстах от него, о весенней степи, цветущей тюльпанами во все стороны до самого горизонта, и о другой степи – выжженной июльским пеклом, стогами сена, пыльным запахом чабреца, свистом сусликов, кружащими в белёсо-голубом небе степными орлами, о бахче за селом с полосатыми арбузами и мучнистыми дынями на сухой горячей земле. Дома – это там, где осталась душа. И попробуй кто сказать, что после войны они туда не вернуться! Надо только потерпеть... Тем и живы.

Комбайнёр с МТС запустил свою молотилку.

Завтоком Платон Алексеевич поставил двух женщин из первой бригады подавать необмолоченную массу на приёмный транспортёр, а Марию одну, с огромными вилами, отбрасывать выползающую из молотилки солому.

Одна из подающих снопы, Катька Костюченко, сильно обидела Марию в прошлом году. В начале зимы тётя Дуся Рошупкина, у которой Гейне тогда жили на квартире, уехала на два дня по своим родственным делам, а когда вернулась, Катька рассказала ей, что только она за дверь, «её немцы» завесили окна одеялами, вытащили граммофон и давай веселиться и тан-

цевать от радости, что фашисты наступают на Москву. И это враньё Катька растрепала по всему селу.

Тётя Дуся не поверила:

– Бреешь ты, Катька! Как всегда, бреешь! У меня дети дома оставались с этими немцами. Не веселились они и не танцевали, да и граммофона у них никакого нет.

– Ага, так они тебе его и показали!

– И где им танцевать? Когда их ко мне поселили, зашла к ним, а их старенькая бабушка сидит и плачет. «Что, – спрашиваю, – бабушка плачете?» А она отвечает: «Комната маненька. Вещи лежит, а мы сидит!» И правда – вещи на полу, а места только и осталось, чтобы на них сидеть. Не трепи языком, Катька, не наговаривай на людей. Им и без тебя тошно.

– А что ты их защищаешь? Немцы моего папку убили...

– То немцы. А Мария твоего папку не убивала.

Но многие сельчане поверили Катьке. В тот день, когда по радио объявили о разгроме немецко-фашистских войск под Москвой, народ собрался вечером в клубе. Включили на всю мощь репродуктор, из которого зазвучал торжественный голос Левитана: «...И перешли в решительное контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате обе эти группировки разбиты и поспешно отступают, бросая технику, вооружение, неся огромные потери!». К Марии и её родителям подбежал мальчишка, плачущий от счастья, и закричал им в лицо: «Что взяли Москву? Взяли? Вот вам Москва! Вот! Вот!» Ах, как тогда было горько и обидно!

Через длинный сарай тянуло сквозняком, но Марии было жарко. Обмолоченная солома пёрла на неё из жерла молотилки, она сражалась с ней как могла, хватала вилами вороха, откидывала в сторону, но на их месте возникали новые, гораздо бóльшие, лезли под ноги, наваливались на неё... В волосы и шаль впиалась солома, одежда покрылась пылью. А Катька с подругой старались во всю. Мимо шёл Платон Алексеевич, в коричневом картузе, в фуфайке цвета осенней стерни. В картуз, в седые до белизны волосы тоже вцепилась солома.

– Платон! – позвал его комбайнёр. – Людей не умеешь расставлять. Подают двое, а солому отбрасывает одна девчонка. Видишь, не успевает, замаялась уже. Поставь второго человека.

– А где я тебе его найду, второго человека? Нет у меня людей!

Платон Алексеевич – хороший человек. Всю жизнь был конюхом, в лошадях понимает хорошо, а заведующим током стал, когда все другие мужики ушли на фронт. Вот и приходится ему теперь начальствовать над бабами.

– Сам тогда становись, – не унимался комбайнёр.

– Без советчиков знаю, куда мне становиться, – пробурчал Платон Алексеевич в белые усы, сильно пожелтевшие по краям от курения трубки. – Ну-ка, дочка, дай вилы.

Хоть Платону Алексеевичу и под шестьдесят, но силы ещё есть. Навильники у него побольше, не детские, как у Марии, – а какие следует, но и он еле успевает. Убедился, что одного человека мало. Но не может же он целый день кидать солому. Он начальник, должен руководить. К счастью опять Федька Гофман с Петькой Денисовым приехали – ещё телегу пшеницы на обмолот привезли.

– Становись, Федька, с землячкой на солому, – сказал Платон Алексеевич, а Петьке я своего внука дам в напарники.

Мария знает, что Генке, старшему внуку Платона Алексеевича, едва исполнилось двенадцать, в колхозе он не числится. Но кто на это смотрит сейчас, когда надо дать хлеб стране, воюющей армии, чтобы не голодала и побыстрее справилась с проклятыми фашистами.

Петька поехал за Генкой, а Федька остался с Марией. Вдвоём стало легче сражаться с соломой.

Федька с матерью не так давно в их колхозе. Им пришлось посолонее, чем Марии с родителями. Со станции их привезли в колхоз «Прогресс» – это такая глушь, что и описать невоз-

можно. И председатель там был злой пьяница. Изю всех сил старался не попасть на фронт. А это, по его понятиям, было возможно только через лютость к своим колхозникам: чтобы боялись его и работали с утра до ночи. Вот и с Федыкиной семьёй он сразу взял самую крайнюю степень лютости. У Федыкиного отца была справка, что он сдал на Волге столько-то пудов пшеницы, которые ему выдали на трудодни.

Председатель, конечно, никакого хлеба им не дал, так же, как и другие председатели. Какой может быть хлеб немцам-переселенцам, когда самим не хватает. Но корову взамен оставленной на Волге он обязан был предоставить. Долго злобствовал, но всё же дал – самую тощую, самую никчёмную, какая сыскалась на колхозной ферме. Правда Федыкины родители её вылечили и выходили. В конце концов, она даже отелилась и стала давать молоко. А в феврале сорок второго года Федыкиного отца забрали в трудармию. Тяжко ему было расставаться с семьёй, оставлять на произвол судьбы жену и семерых детей?

Перед уходом сказал:

– Пропадёте вы тут. Как только будет возможность – бегите в Кочки, там люди получше живут, может и вы выживете, а этот дурак вас точно... – и он заплакал. Отца увезли в Кочки, а оттуда неизвестно куда. Сначала он писал часто: попал на Енисей, на рыбную ловлю. Но с весны почтовый ручеек оборвался, и с тех пор от отца ни слуху, ни духу. Впрочем, Федыкина семья тешит себя надеждой, что письма приходят по старому адресу, в колхоз «Прогресс» и там уничтожаются.

Дурак-председатель, видимо, в самом деле не прочь был сжить их со свету, и весной не дал земли, чтобы посадить картошку. А без своей картошки – верная смерть. Тогда, в безлунную майскую ночь Федыка с матерью запрягли свою корову в колхозную телегу, посадили на неё младших детей и уехали в Кочки, в колхоз «Красное знамя», в котором работала Мария. Краснознаменский председатель Григорий Трофимович обрадовался и новым рабочим рукам, и неожиданно приплывшей ценной телеге. Прискакавшему на розыски пьянице-председателю беглецов не выдал:

– Нет у меня никакой телеги, не видел никаких Гофманов. Да ты, брат, пьян. Тебе поблазнилось, что они от тебя убежали. Поезжай-ка восвояси, они небось уже дома сидят и чай пьют... с картофельными очистками.

Трудно сказать, почему горе-председатель не проявил настойчивости и не сообщил в милицию. Скорее всего, что он как раз ушёл в долгий запой, потом испугался, что начальство сурово спросит с него за промедление в розыске беглецов, и решил положиться на изворотливость Григория Трофимовича. И оказался прав. Григорий Трофимович уладил всё с комендатурой, Гофманы вместе с телегой остались в его колхозе, посадили картошку и вырыли себе землянку, а председатель «Прогресса» – продолжил руководить своим хозяйством.

Часа три сражались Федыка и Мария с соломой. Запарились. Федыка хотел даже скинуть фуфайку, из прорех которой клочками высывалась в отверстия желтоватая вата, но Мария отговорила. По сараю сквозь открытые с обоих концов ворота тянуло таким резким холодом, что воспаление лёгких мальчишке было бы обеспечено. Вдруг, в ревущем агрегате что-то заскрежетало – и наступила тишина, будто все провалились в другой мир. Человеческие голоса в этом мире звучали необычно без машинного аккомпанемента. Комбайнёр бросился осматривать свою молотилку, а Платон Алексеевич дал команду затаривать намолоченную пшеницу в мешки.

А тут и Генка с Петькой Денисовым едут и новые снопы везут. Генка на самом верху воза сидит, улыбается довольно – взрослое дело делает!

– Э, ребятки! – говорит дед Платон. – Не пойдёт. Сырые снопы, просушить бы надо. Везите на сушилку. А ты, Маруся (Платон Алексеевич звал Марию Марусей) иди-ка растопи там её, сделай всё как надо.

Сушилка далеко – на самой окраине села. Мария отряхнула с одежды солому и полову, выдрала из платка цепкий репейник и пошла, а на выходе секретарша из сельсовета с портфелем:

– Ты Мария Гейне? Знаю, что ты, для порядка спрашиваю. На вот, распишись. Повестка тебе.

Кольнуло Марию в самое сердце. Развернула бумажку: «5 ноября 1942 года в 9 часов явиться в Кочковский райвоенкомат по адресу... в исправной зимней одежде с запасом белья, постельными принадлежностями, кружкой, ложкой и 10-дневным запасом продовольствия».

Давно говорили, давно ждала. Но всё равно неожиданно. Словно по голове колотушкой. Прислонилась к воротам. Подошёл Платон Алексеевич:

– Что ты, дочка?

– Призывают... В трудармию.

– Гм... Ну что ж поделаешь... Страна на военном положении. А это значит – все мы солдаты. Куда поставят, там и стой. Эх... – Платон Алексеевич махнул рукой и отвернулся. – Ты, дочка, не обижайся на меня...

– Что вы! Мне на вас не за что обижаться, – искренне сказала Мария.

На Платона Алексеевича, действительно, обиду держать не с чего. Человечный он. Сколько раз приходила к ним прошлой зимой его бабушка Мавра Егоровна: то несколько картошин принесёт, то пару оладышков. А ведь её сын Иван, уходя на войну, оставил старикам на попечение четверых внуков. Ни один кусок не был у них лишним.

Вспомнила Мария добро Платона Алексеевича. Сама не знает, как получилось, обняла его и благодарно поцеловала в щёку.

– Ты того, – растрогался он, – домой сходи, пообедай, в себя прийти. Подождёт сушилка...

Домой-то ей так и так было положено: обеденный перерыв в войну никто не отменял. Очень хотелось, чтобы отец с матерью были дома. А они и в самом деле там. А ещё в землянке соседка – Катрине-вейс Бахман. Глаза красные заплаканные.

Мать у бабушкиной постели кормит старушку супчиком – мучной затирухой:

– Мария, ты получила повестку? – смотрит тревожно с надеждой на чудо: вдруг эта беда её минула.

– Только что.

– И наша Милька тоже, – говорит Катрине-вейс. – Совсем одни мы останемся с Соломон Кондратьевич, – и старушка заплакала. Высморкалась в платочек, вынутый из-за обшлага рукава.

– Садись, Мария, поешь gebrende Mehlsopp², – говорит мать.

И вот они с Катрине-вейс плачут уже вдвоём. Беда-то общая, одна на всех.

С Катрине-вейс и Соломоном Кондратьевичем они соседи не только здесь. Они и на Волге жили на одной улице – через дом. Милька не дочь их, а внучка. У них есть и внук Йешка, он уже в трудармии. Его призвали в январе этого года в числе самых первых.

Родители Йешки и Эмилии умерли: отец во время голода в тридцать третьем, а мать ещё раньше при родах.

Через трагедий в их семье началась в двадцать шестом году.

У Катрине-вейс и Соломона Кондратьевича был единственный сын Фридрих. И работающий был и умён, и всё у него было для хорошей жизни. Но Бог поразил его нелепой и позорной страстью: он был вор. Крал всё, что попадалось на глаза и никак не мог от этого удержаться. Причём делал это настолько ловко и так искусно прятал украденное, что бока и прочие части

² суп из подрумяненной на сковороде муки (диалект нем. Поволжья)

его тела оставались целы, а шевелюра подвергалась прореживанию гораздо реже, чем он того заслуживал. Вскоре эта страсть передалась и его жене, скрепляя их союз сильнее всякой любви.

В то время – ещё до колхозов —крестьяне нанимались к государству во фрахт. Перевозили разные грузы: товары в магазины, зерно на мельницу и прочее. Фридрих это дело очень любил и всегда возвращался в Паульское с добычей – так, бывало, являлся в родной дом, косясь по сторонам, Мариин кот Мурре с соседским цыплёнком в зубах.

За короткое время, благодаря Фридриху, к его односельчанам прилипла слава отъявленных воров, и все в округе стали смотреть на павловских с подозрением: как бы после них чего-нибудь не пропало.

Однажды возвращались павловские домой из долгой поездки в Саратов. На постоялом дворе (тогда они назывались уже «домами крестьянина») ночевали с орловскими³ мужиками. Наутро собрались в путь, запрягли лошадей, погрузили товар, как вдруг один орловской мужик богатырского роста кричит:

– Держите их, братцы! Не пускайте! Шапка пропала! Дорогая шапка – меховая.

Окружили орловские павловских:

– Отдавайте шапку по-хорошему – не то бить будем.

Павловские клялись, что не видели никакой шапки, но орловских было больше. Заставили раздеться до исподнего, обыскали – нет шапки. Всё в доме перетрясли.

– Похоже, правда не брали, может ты как-нибудь того... обронил? – засомневались орловские. – Мы ведь вчера крепко погуляли.

– Да вы что, мужики! – горячился богатырь, – точно помню, в шапке я вчера вернулся! Они! Больше некому!

Обыскали ещё раз. Снова ничего не нашли. Вывели на улицу к подводам:

– Сами скинете своё барахло или помочь?

К счастью у «Дома крестьянина» прогуливался милиционер. Павловские кинулись к нему:

– Товарищ милиционер! Это что же такое?! Не пускают нас ехать!

– Так! В чём дело, товарищи?

– Шапку они у нас украли, – сказали орловские, но уже тише и неуверенно.

– Они нас уже три раза обыскали, нет у нас шапки, а нам ехать надо! – пожаловались павловские!

– Так! Это что такое! – милиционер строго оглядел орловских. – Вы что себе позволяете!? Какое право вы имеете обыскивать граждан!? Вы свободны, товарищи, – обратился он к павловским, – можете ехать! А до вас, – это уже орловским, – я ещё доберусь!

Мужики мчались домой, не замечая ни всходящего яркого зимнего солнышка, ни синего неба, ни крепкого мороза. А впереди всех на долгогривой малорослой лошадке по кличке Брауни скакал, поминутно оглядываясь, Фридрих. Только к обеду, когда показалось вдали родное село, успокоились.

– Признайся, Фридрих, ты спёр шапку? – спросили мужики, когда сдали товар в сельпо.

– Что вы! Конечно нет! – Вид у Фридриха был такой невинный, что мужики только плечами пожали.

А уже дома, в пригоне, Фридрих откинул густую длинную лошадиную гриву и вытащил из-под неё пристроенную под неё меховую шапку.

И Катрине-вейс, и Соломон Кондратьевич не одобряли сыновье воровство, но и не препятствовали. Даже помогали ему прятать украденное, приговаривая: «Ох, попадётся! Кончай, пока не поздно! И нам горе принесёшь! Чтобы это было в последний раз»!

А что они могли ещё сказать? Не доносить же на родного сына!

³ из села Орловское, названного так в честь Григория Орлова.

Но вот Фридрих заметил, что отец стал с возрастом хвастлив и болтлив. Как-то услышал, как старик приглашал соседа:

– Приходи ко мне. Чаю с сахаром попьём.

– Что ты, сахар нынче дорог.

– Будто я за него плачу! – надменно ответил Соломон Кондратьевич.

– Не обязательно отцу знать, что я привожу, – сказал после этого Фридрих жене, и они решили не посвящать больше родителей в свои дела.

И вот как-то раз везли фрахтовщики на трёх санях товар в сельпо по первопутку. Фридрих ехал последним, а дорога лежала по улице мимо его дома. Едва сани поравнялись с калиткой, как он с быстротой молнии выставил из них на снег ящик, в котором прятались десять банок с повидлом. В тот же миг калитка открылась, из неё высунулись длинные руки, и ящик мгновенно исчез. Никто ничего не успел заметить. Фридрих и приёмщику заплёл мозги, тот насчитал ровно столько товара, сколько значилось в бумагах.

Но уже через час явились к Бахманам три милиционера и сказали, что должны провести обыск, потому что исчез ящик с повидлом.

На Соломона Кондратьевича нашло странное возбуждение:

– Пожалуйста, пожалуйста, товарищи милиционеры! Ищите, мы всё понимаем: как говорится, служба есть служба. Вот посмотрите на кухне. За печку загляните. В спальне будете искать? Посмотрите, посмотрите... Ах, нет ничего!?! Какая жалость! Пройдёмте тогда в чулан. Осторожно, не испачкайтесь! Здесь очень пыльно, а шинельки-то на вас новые. Вы уж извините нас: не знали, что дорогие гости придут, не прибрались. Позвольте, я вам здесь вот с шапки паутинку сниму. В погребок теперь пожалуйста. Там много чего можно спрятать. Осторожно только, скользко тут! Не убейтесь! Натоптали вы маленько, снежку нанесли, насвинячили! Ничего, ничего, не беспокойтесь, мы подотрём за вами. Люк-то подними, Фридрих! Осторожно! Спускайтесь по лесенке, не оступитесь! Ищите как следует... Да вам может посветить? Ну-ка, Фридрих, зажги товарищам милиционерам летучую мышь. Как? Видно сейчас?

Около получаса два милиционера шуровали под полом, в то время как старший расспрашивал Фридриха: где ехали, когда, не было ли чего подозрительно. Наконец над люком показались две милицейские головы:

– Нету ничего! Жарко! Тесно, и в шинелях не повернуться.

– Ну нету, так нету. Пойдём, – сказал старший.

– Как, уже уходите? Так скоро! – не унимался Соломон Кондратьевич! – Такие приятные люди! Скоро ли опять увидимся. Может на дворе поищите. У нас ведь и зимний погреб есть. А, понимаю: времени нету... Ну ладно, некогда так некогда. В следующий раз!

Физиономии Фридриха и его жены вытянулись и позеленели. И это не осталось незамеченным.

– Да нет, – сказал старший, – зачем же в следующий раз! Мы сейчас посмотрим. Где там у вас зимний погреб? Пройдёмте, гражданин, – обратился он к Фридриху.

Фридрих сгорбился, еле попал в рукава полушубка, и скользя валенками с галошами по мокрому полу, как новорожденный телёнок, вышел впереди милиционеров из дома. За ним, обжигая тестя ненавидящим взглядом, выбежала и Фридрихова жена.

– А? Что? – пролепетал Соломон Кондратьевич, и тон его мгновенно поменялся с весело-издевательского на самый жалобный, какой себе только можно вообразить.

Едва закрылась дверь, как Катарине-вейс кинулась к мужу, и стала бессильно бить маленькими кулачками в его грудь:

– Что ты надела-а-ал, старый дурак!

Вернулся Фридрих с милиционерами, поцеловал детей, жену, мать, на отца даже не взглянул и ушёл из дома на шесть лет.

Много чего случилось за эти годы – и только плохого. Весной умерла в родах жена Фридриха вместе с ребёнком. Еле выкарабкались из кори Йешка с Эмилией. Совсем захирело хозяйство на плечах Соломона Кондратьевича. Сдохла длинногривая лошадь Брауни, сломала ногу корова – пришлось прирезать.

В тридцать втором вступили в колхоз. А в колхозе тоже есть нечего. К концу года и Фридрих вернулся. Не работник, не добытчик – лишний рот за пустой семейный стол. Уходил дерзкий молодой мужик, а вернулась его бледная тень.

Отца он так и не простил, но больше винил себя. Глядел на опухших от голода детей и родителей, и не ел – не мог отобрать у них кусок. Дожили до весны. Под пасху ушёл Фридрих в степь за сусликами. День был солнечный, тёплый. Но удачи ему не было. Прилёг отдохнуть. Солнышко в последний раз пригрело его, он и заснул, разомлев. А проснуться – сил не хватило...

Всю ночь ждали его в доме Бахманов: выла мать, чуя непоправимую беду, тряслись плечи у непрощённого отца. Утром Соломон Кондратьевич поехал с соседом – отцом Марии – на поиски, и привёз в телеге домой мёртвого сына.

Как ему ни хотелось, не мог старик после этого умереть. Надо было им с женой двух внуков поднимать. Боялись, что жизни не хватит, но нет – успели. Выросли и Йешка, и Эмилия. Ну, слава Богу, есть кому похоронить! И вот – на тебе – война! Потом незнакомая, казавшаяся страшной, Сибирь. Ни кола, ни двора. Даже коровы им не дали, как Марииной семье, потому что дома не сдали – некого было сдавать. Потом забрали в трудармию внука, а сегодня и за внучкой пришли... Плакала Катрине-вейс, плакала Мария, плакала её мать, тяжело вздыхал отец. И никому не хотелось есть.

Но плачь не плачь, а на работу надо – хлеб сушить.

Тюрьма

Сушилка находилась на самом краю села. Соломенная крыша на столбах закрывала от дождя и снега кирпичный пол над топкой. Федька Гофман с Петькой Денисбвым уже разложили по кирпичам один воз необмолоченной пшеницы и, наверное, поехали за новым. Задача Марии – растопить топку и поворачивать пшеницу вилами, чтобы та не перегревалась, а равномерно высыхала.

Загорелся хворост в топке, пополз дым из дымохода. Кирпичи нагрелись. Взялась за вилы, перевернула слой пшеницы.

Через час на вороном Алиме прискакал бригадир Семён Васильевич.

– Сушишь? – потряс ворошок. – Пожалуй ничего! Годится! Можно молотить. Сейчас Федька с Петькой приедут, увезут.

К вечеру Мария высушила ещё два воза. Уже темнело, когда она подмела пол сушилки. Попробовала кирпичи – тёплые, но рука терпит. Если случайно что-то попадёт – не загорится. А вот и бригадир скачет:

– Семён Васильевич, – обрадовалась Мария, – посмотрите, я всё убрала, можно идти домой?

– Всё потухло? – спросил Семён Васильевич, щупая кирпичи – сколько сегодня высушила?

– Три телеги.

– Хорошо, иди.

Ветер, как показалось Марии, ещё усилился, рвал с деревьев последние листья. Темнота сгущалась, но ещё были видны бешено мчащиеся по небу тучи. Мария шла по улице с бедными, но настоящими домами. В них уже зажгли свет. Как хорошо, у кого есть свой дом со светом! А ей в тёмную землянку с лучиной, с огромными тенями, прыгающим по неровным земляным стенам.

Вдруг над головой трах-тах-тах! – будто лопнуло что-то. Прямо перед Марией посыпался огонь. Это провода схлестнулись, успокоилась она и перешла на другую сторону улицы подальше от столбов.

Мать с отцом уже были дома. Мать плакала. Отец крепился, но Мария знала, что и ему тошно. Всего десять дней ей оставаться с ними. Мать уже подоила корову, испекла оладий. Сегодня праздничный ужин. Праздничный, но невесёлый. Пододвинули стол к бабушкиной лежанке:

– Мама, посидите с нами, – позвал отец.

– А что за праздник? – спросила бабушка.

– У Марии день рожденья.

– Да? А какой сегодня день?

Отец посмотрел на календарь, привезённый из дому, и укреплённый на дощечке в красном углу землянки:

– Воскресенье.

«Боже мой. Неужели сегодня было воскресенье?! – подумала Мария.

За дверью какой-то шорох. Постучали.

– Кто там?

– Das bin ich⁴, – голос Катрине-вейс.

Она вошла вся в слезах. В обед она не так убивалась, а сейчас еле слова из себя выдает.

⁴ Это я (диалект поволжских немцев)

– Дайте, ради Бога, немного молока, хоть кружку, если есть.

Никогда она ничего у других не просила. Ох, наверное, опять у них горе – и не Эмилия ему причина.

– Что случилось? – спросила Мария, но Катрине-вейс только бессильно шевельнула рукой: мол, не спрашивайте. Взяла кружку молока и поспешно ушла.

Легли рано. На улице делать нечего, а в землянке темно. Заснули крепко. Как ни возбуждены нервы, а физическая усталость своё взяла. Мария провалилась в бесчувственную черноту. Век бы из неё не возвращаться!

Проснулись от грохота. Всегда тревожно, когда ночью стучатся к тебе в дом. А когда хлипкая дощатая дверь подпрыгивает от ударов рядом с тобой?...

Обитатели землянки вскочили, ошалелые:

– Allmächtiger Gott, was ist doch los?⁵ – голос отца.

– Слышим, слышим! – закричала Мария, натягивая платье. – Не стучите, дверь выбьете!

В ответ грубый мужской голос:

– А и выбьем, коли надо будет! Открывайте быстрее! Милиция!

– Herr Jesus! Die Miliz!⁶ Лампу-то, лампу зажгите! Лампу куда спрятали?

Мария метнулась в угол землянки, нащупала на самодельной этажерке керосиновую лампу, поставила на стол, на печи нашарила спички.

Осветились стены их земляной комнатки. Заметались, заплясали по ним тени. Стало видно, как отец прыгает, пытаясь попасть ногой в штанину, мать накидывает на себя пальто, бабушка села на лежанке, оглядывается потерянно, ничего не может понять...

– Чего возитесь? – голос за дверью. – А то правда дверь вышибем!

Мария отбросила крючок. В землянку ворвался холод, а следом зашёл милиционер в шинели и форменной фуражке. За ним второй. Сразу заняли полземлянки.

Мария едва успела отскочить, чтобы ей не наступили на ноги.

– Кто тут Мария Гейне? – спросил первый.

– Это я, – ответила она чужим голосом, леденея от ужаса.

– Собирайтесь, вы арестованы!

– Ах-ха-ха-ха-ха-а-а! А-а-а-а! – завопила мать.

А у Марии даже сил не было спросить: «За что?».

Она машинально надела рабочую фуфайку, повязала шаль, в которую жалко и сиротливо вцепились два репья. Не помня себя от ужаса, вышла из такой родной теперь землянки. Родители хотели броситься вслед за ней, но не посмели – уж слишком страшно звучало слово «милиция».

На северной окраине села небо было тускло красным. Мария этого не замечала, перева-ривая внезапно свалившийся кошмар, пока милиционер не спросил:

– Твоя работа?

– Какая работа?

– Кончай придуриваться! Сушилку ты подожгла? – он мотнул головой в сторону зарева.

– Не поджигала я ничего, – выдавила из себя Мария и разрыдалась.

Пока шли к милиции, повалил снег. Бил в лицо, таял и перемешивался с её слезами. Она не замечала ни ветра, ни снега. Ничего в мире не было, кроме огромного удушающего ужаса.

– И-ииии-ии, – запели входные двери:

– Задержанная, прох-ходи! – сказал второй милиционер, не проронивший до этого ни слова.

– И-ииии-ии – бум! – раздалось за спиной.

⁵ Всемогущий Бог, что стряслось? (диалект поволжских немцев)

⁶ Господи Иисусе! Милиция! (диалект поволжских немцев)

Перед Марией открылись ещё одни двери, и она оказалась в коридоре, освещённом несколькими тусклыми лампочками. За столом недалеко от входа сидел пожилой милиционер, наверное, дежурный.

– Принимай задержанную, Фадей Гордеич, – сказал ему второй милиционер, который оказывается был старше стучавшего в землянку.

– Призналась? – спросил, вставая, Фадей Гордеич. – Что говорит?

– Ничего не говорит, только воет.

– А чего выть? – ласково улыбаясь сказал дежурный. – Не виновата – отпустим, а виновата – будешь отвечать по всей строгости военного времени. Пойдём! Поселю тебя рядом с землячком.

Долго шли по бесконечному коридору, становившемуся всё темней, наконец свернули в закуток, где почти совсем не было света. Но дежурный без промаха вставил ключ и открыл перед Марией дверь камеры, щёлкнул снаружи выключателем и сказал, указывая на железную кровать, застеленную каким-то тряпьём:

– Располагайся.

Опять заскрежетал замок, свет погас, и в крошечной тьме она завывала так, что самой стало страшно. Под утро она то ли уснула, изнурённая, то ли потеряла сознание.

Очнулась, когда за окном уже стали видны заснеженные кусты, а дальше, за забором, труба кирпичного завода. Совсем далеко – белые крыши домов и сараев. В эту ночь наконец наступила зима. Как Мария ещё совсем недавно любила первый снег! А сейчас всё – жизнь сломана... Кончилась жизнь! Её колотил озноб. В камере, действительно, было холодно. А на воле ветер утих, и небо прояснилось. Вставало солнце. Всё заискрилось – также, как в прошлом году, как в позапрошлом, когда она со своими однокурсниками шла пешком по такому же чистому первому снегу в педучилище...

Она вздрогнула от звука открываемого замка. Дежурный – не вчерашний, но тоже пожилой, почти старичок – сказал буднично, по-домашнему:

– Гейне, тебе передача – картошка-лепешка, – и улыбнулся всеми своими морщинами: мол, я не передразниваю, мне так сказали, я передаю.

Их красная чашка. А в ней несколько картофельных лепёшек. Золотистая корочка с двух сторон. И запах, наверное, вкусный, только Мария сейчас ничего не чувствует – ни запахов, ни вкуса. Во рту всё пересохло, язык деревянный, и в глотке ком – ничего не пропускает. А чашка ещё тёплая. «Встали, наверное, до свету, нажарили и сразу с печки мне понесли... А может – ничего, может – обойдётся, разберутся. Ведь я не виновата».

Только так подумала, а замок уже снова скрежест:

– Гейне, на допрос.

Кабинет. В другом конце того же здания. Солнце в окно. За столом молодой милиционер. Гимнастёрка, красные петлицы на воротнике.

– Младший лейтенант Чалов. Веду ваше дело, – посмотрел на неё. Долго смотрел, выжидающе. – Ну рассказывайте.

– Что рассказывать?

– Как сушилку подожгли.

Её снова затрясло, полились слёзы:

– Не поджи-и-га-ла я! Я ушла... всё... уже потухло.

– Потухло, говоришь? А кто это может подтвердить?

– Бригадир был, Семён Васильевич. Он сам кирпичи щупал. Они уже холодные были. Спросите его...

Хорошо, что в кармашке платья оказался носовой платок. А то сидела бы сейчас, размазывая сопли и слёзы.

– И когда же он щупал?

– Перед тем, как я домой пошла. Он пощупал и отпустил меня.

Тут Чалов усмехнулся и сказал:

– Ну ладно, а в котором часу отпустил?

– Не знаю, темнеть стало. Сумерки были. Где-то в семь.

– В семь... А загорелось в двенадцать. Выходит, ты пошла домой, потом вернулась и подожгла?

– Не поджигала-ааа! Мы поужинали и спать легли-и-ии!

– Не поджигала? А отчего же тогда загорелась? Или она сама себя подожгла? Сушилка-то?

– Не знаа-а-а-а-ю!

– Может подложила что-то, чтобы тлело, а потом разгорелось? Или спички как-то так разложила, чтобы огонь пополз?

– Ничего я не дела-а-ла! Я и не умею, и не знаю...

– А может бригадир поджёт?

– Не-е-ет! Я пошла, и он ускакал. На коне он был.

– Ну хорошо, устрою тебе очную ставку с бригадиром. Подожди пока.

Чалов позвонил в правление колхоза, и через десять минут Мария уже видела в окно, как Семён Васильевич мчится галопом, и сырой снег комьями вылетает из-под Алимовых копыт. Ещё через несколько минут бригадир уже входил в кабинет. Да, серьёзная организация милиция!

– Ну что бригадир. – сказал Чалов. – Вот гражданка Гейне утверждает, что ты последним видел сушилку перед пожаром. Говорит, в семь часов вечера ты всё осмотрел, проверил, пощупал, её отпустил, а сам остался.

– Не говорила я так. Мы вместе ушли.

– Вместе что ли подожгли?

– Да вы что, товарищ младший лейтенант! Я вчера один раз там был... В обед, – глаза Семёна Васильевича забегали, будто он не знал, куда их деть. – Приехал, посмотрел, как сушится. Сказал: сейчас ребята ещё воз привезут... И всё... Вечером я её не видел и не отпустил. Она сама знала, когда можно уйти.

– Понятно, так и запишем. Гражданку Гейне не видел, уходить от сушилки не разрешал. Правильно?

– Да, так и было.

– Семён Васильевич! – закричала она в отчаянии. – Разве вы не помните, как щупали кирпичи, сказали «Иди домой».

– Нет, товарищ младший лейтенант, клевета! Не видел я её.

– А может, всё же видели, товарищ бригадир? А? Может вы подожгли?

– Да что вы, товарищ младший лейтенант! Мне-то зачем?

– А ей зачем?

– Ну... она того... немка..., – руки у Семёна Васильевича задвигались так же суетливо, как глаза... – Может своим помогает...

– Так и запишем: «Считаю, что сушилку подожгла гражданка Гейне из вредительских побуждений». Верно?

– Выходит, так.

– Выходит «так» или просто «так».

– Ну так, наверно...

– Ладно иди.

Когда Семён Васильевич ушёл, и последняя её надежда рухнула, Мария заголосила уже, не сдерживаясь.

– На вот, подпиши протокол, – сказал Чалов.

Но Мария ещё сегодня ночью решила ничего не подписывать, тем более, не понимая, что подписывает. А сейчас она вообще не способна была что-то понимать.

– Ну хорошо, – сказал Чалов, – так и напишем: «Подписать протокол отказалась»!

– Что теперь будет? – всё-таки смогла спросить Мария.

– Судить тебя будут. Суд и решит, что с тобой делать.

Услышав слово суд, она совсем ополоумела и стала кричать уже по-немецки.

Мария не помнила, как шла в камеру, как очутилась на кровати с тряпьем. Кричала и плакала весь остаток дня. А поздно вечером вдруг услышала глухой стук в стену. Этот еле слышимый стук вернул её к действительности. Мария стала воспринимать звуки, обращать внимание на свет автомобильных фар за окном, и вскоре уснула так крепко, будто умерла.

Утром пришёл тот же старый милиционер. Принёс ложку овсяной каши и светло-жёлтую жидкость в алюминиевой кружке, наверное, чай.

– Ох, и кричала же ты вчера, дочка! У меня самого глаза на мокром месте были: «Чего, – думаю, – девчонку мучат?» Ты только никому не говори, что я так сказал. А то... – он махнул рукой, – можешь и сказать. Мне старику всё равно, прожил я своё. Но лучше не говори... А картошку-лепешку что же не съела?

– Не могу... Хотите, съешьте.

– А что, давай, пожалуйста! Не пропадать же. Смотри только не пожалей.

– Не пожалею.

Чай Мария смогла выпить, а кашу не стала.

Наступило какое-то отупение: ну и пусть, будь что будет...

Вскоре опять пришёл милиционер, в руках другая – синяя – их чашечка:

– Новая картошка-лепешка приехала. Ты уж того, поешь.

– Берите себе.

– Нет, нет, больше не возьму. За то спасибо. Вкусная картошка-лепешка. А эту обязательно сама съешь. Не бойся, ничего тебе не будет за сушилку – ей грош цена копейка. Да председатель ваш, вроде как за тебя просил. Точно не скажу, но слышал краем уха.

Оставшись одна, она принялась – от жареной в масле картофельной лепёшки исходил аромат, чудеснее которого не было в её жизни. Она отломил кусочек, а потом с жадностью проглотила все три «картошки-лепешки».

В стенку опять постучали, как вчера вечером. Но Мария опять не решилась ответить. А вскоре пришёл дежурный и принёс ведро с тряпкой:

– На-ка, полы помой – время веселей пройдёт.

Она вымыла весь коридор, а когда заканчивала мыть пол в закутке возле двери соседней камеры, из-за двери донёлся хриплый, простуженный голос:

– Мария! Это ты?

– Я. А вы кто?

– Я Йешка Бахман.

– Йешка! Но ведь ты в трудармии!

– Я убежал. Меня позавчера вечером поймали. Я страшно хочу есть. Передай своей маме, пусть мои мне что-нибудь принесут. Поняла?

– Да.

– Что ты дочка? Разговариваешь с кем? – спросил появившийся дежурный.

– Нет я так, головой о косяк стукнулась.

На следующее утро её вызвал Чалов:

– Ну вот что, Мария... Фридриховна, Маруся, Маша, Марейка – как там тебя? Приходил вчера этот ваш бригадир Семён Васильевич. Отказался от своих показаний. «Струсил», – говорит. «Не смогу, жить, если буду знать, что девчонку погубил». Председатель ваш был.

Тоже хорошо о тебе отзывался. «Давай, – говорит, – лейтенант, спишем на провода. Ветер, мол, сильный был, захлестнуло, искры полетели, попали на соломенную крышу». Далековато, конечно, до проводов, но чем чёрт не шутит, может и правда долетели. Я всё это начальству доложил. Начальство решило: «Раз у неё повестка на руках, пусть отправляется в трудармию, нехай там разбираются вредитель она или нет». Так что бери свои манатки, и брысь отседова, пока не разложила мне своими воплями все кадры.

Марии принесли её фуфайку и шаль, а на шали те же два репья из родного дома. Она даже срывать их не стала, надела шаль на голову вместе с ними.

Открылась дверь на пружине, и также раздалось за её спиной:

– И-ииии-иии – бум! – как той несчастной ночью.

Жигули

Морозы в этом году сразу принялись за дело. Двадцать градусов днём с обжигающим ветром. Снегу сразу выбросило на полваленка, и перестал на утренней заре пастух выгонять коров из хлева⁷.

Катрине-вейс теперь у них каждый день. Нечего больше таиться. Рассказала, как пришёл Йешка. Они сидели втроём в землянке и ужинали, когда снаружи тихо-тихо постучали. Она открыла дверь, а там её внук: грязный, обросший, без шапки, в одном пиджачке.

– Боже мой, – говорила Катрине-вейс, всплёскивая руками, – что он рассказал! Да и рассказывать не надо – всё по нему видно. Кожа да кости. Он говорит, в трудармии такой голод! Хлеб дают четыреста граммов, а варёного – пустой суп и не каждый день. Не выдержал он. Терпел, пока лето и можно было что-то в лесу найти – грибы или ягоды. А осенью стало совсем плохо. Решил убежать. Я говорю: «Йешка, да как же ты осмелился на такое. Ведь за это тюрьма, а может и хуже!» А он говорит: «Хуже ничего не может быть. Мне и так, и так смерть. А от голода она страшней всего, потому что медленная». Десять дней ехал на крышах вагонов. Днём прячется, ночью едет. А ведь холод! Его так продуло! Говорит: «У меня всё болит, грудь изнутри опухла, я ни дышать, ни кашлять не могу». Ну что делать?! Такого кашля я никогда не слышала! Говорю: «Подожди, сынок, я тебе молока вскипячу, чтобы кашель стал мягче». Пошла к вам за молоком, вернулась, а там уже милиция. Йешка еле успел одну картошечку съесть. Я заплакала, говорю, позвольте мне его покормить, напоить кипячёным молоком – слышите, как он кашляет. Потом заберёте. Он не убежит». А они: «У нас его и накормят, и напоят!». Ох-ох, за что нам такое?! Неужели Бог нас всё ещё карает, из-за того, что Фридрих был вор? Ну он был вор, а дети его чем виноваты? Какие муки он вытерпел! Йешка-то! Не понимаю, как он живым добрался. Десять дней без еды. Ещё нашёл силы пешком от Каргата дойти – сто километров. Такой ветер был в последний день, а он в одном пиджачке и без пуговиц... Бедные мои внуки! – и Катрине-вейс принималась рыдать, а, слушая её, не могли не заплакать и Мария с матерью.

– Зачем мучить людей? Ведь он работал, делал всё что надо. Зачем не давать людям кушать!?! – всхлипывала несчастная старушка. И в этом всхлипе Марии слышалась жалоба на всю несправедливость того, что так безжалостно обрушилось на семью Бахманов. Но уходя домой, Катрине-вейс непременно просила:

– Вы уж, ради Бога, никому не рассказывайте, что я тут говорила.

Конечно, не расскажут.

Ох, беда, беда! В тюрьме трудармия казалась спасением, а сейчас, после Йешкиного побега...

Так Мария маялась до отправки. Сама чувствовала себя отрезанным ломтём, и родители смотрели на неё так, словно на смерть провожали.

В последний день Платон Алексеевич отпустил её пораньше с работы. Мать с отцом пожарче натопили землянку. Мария помылась, оделась в чистое, и стала ждать завтрашнего дня. Утром простилась с матерью, с безучастной ко всему бабушкой, и отправилась в военкомат. Отец пошёл её провожать, а мать осталась дома, потому что бабушка могла умереть с часу на час.

В десять часов подошли машины, мобилизованные расселись по кузовам. Отец, до последней минуты не выпускавший руки Марии, вдруг показался ей таким маленьким и старым, что его стало жальче, чем себя. Вот и моторы завелись... Ну ещё минутку дайте побыть дома... Нет, тронулись. Поехали. Отец бежит следом. Зачем-то снял шапку и машет ею. Всё,

⁷ Пушкин «Евгений Онегин»

отстали... Но ещё мелькают знакомые дома. Вот уже и они позади. Выехали за село на каргатскую дорогу. На дорогу в неизвестность. Полдороги плакали о том, что осталось там, в Кочках, где теперь их дома, вернее, землянки. А потом стало не до слёз. Замёрзли, «задубели», как говорят в Кочках даже под тентом. Два раза останавливались в придорожных сёлах отогреться. Сто километров ехали до самого вечера. Несколько раз застревали в рыхлом снегу перемётов. Спрыгивали, выталкивали машины. Залезали назад все в снегу. К концу путешествия нанесли его столько, что весь пол им утоптали.

Мария сидит на скамейке рядом с Эмилией Бахман. Милька красивая: высокая, стройная. Лицо румяное, ямочки на щеках, а волосы – в косы заплетены – чистое золото. Они в позапрошлом году вместе ходили в Маркшплатт. Мария, Эрн Дорн и Сашка Муль – в педучилище, а Эмилия в техникум механизации на первый курс. Втемяшилась ей в голову блажь с машинами возиться.

Сегодня Мильке невесело. Мария ничего не спрашивает: знает, что Милькины мысли о Йёшке. Если Марии простилась копеечная сушилка, то дезертирство во время войны точно не простят.

Приехали в Каргат при свете фар, переночевали в школе прямо на полу рядом со сдвинутыми партами. А наутро – на вокзал. Над вокзалом красные знамёна. Ах, да! Завтра же праздник! Двадцать пятая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!

Народу в помещение набилось – яблоку негде упасть. А за окнами проносятся поезда. Сначала слышится шум, вибрирует пол, пролетает паровоз, высоко выплёвывая клубы чёрного дыма, следом летят вагоны, ветер наконец приносит паровозный дым от уже далёкой паровозной трубы и швыряет в окна. А вагоны всё мелькают один за одним: низкие платформы, заставленные чем-то, укрытым брезентом и, видимо, секретным, теплушки с людьми.

Спешат, спешат поезда! На запад, на запад! К фронту. Вот ещё люди прибыли.

– Откуда?

– Из Довольного.

– А мы из Чулыма.

Хотят войти, но их встречают люди в форме: «Нет места, не толкитесь, подождите на улице. Сейчас посадка.

На самый дальний путь почти незаметно подкрался паровоз с теплушками и встал.

– Наверно, наш!

Команда:

– Выходи!

На улице кто-то хватается за руку:

– Maria! *S bist wohl du?!⁸*

Тётя Эмма Кригер – мамина сестра! Хоть один родной человек будет рядом с ней!

Обнялись, поцеловались.

– Тётя Эмма! А вас-то почему взяли. Вам же уже сорок пять.

– Ещё нет, только через две недели будет.

– Знаю, но я подумала, что две недели не считаются.

– Сейчас каждый день считается.

Пошли, действительно, к тому поезду с теплушками. Переключка. Кого назвали – два шага вперёд. Один военный выкрикивает по списку. Другой стоит рядом, следит, выходят ли названные.

– Рядом становиться! Рядом с предыдущей!

Ох долго! Подальше, к хвосту, такая же толпа. Тётя Эмма успела рассказать, что живёт в деревне, далеко от райцентра. Осенью или весной – грязь непролазная. В прошлом году

⁸ Мария! Это ты?!

четыре дня ехали из Каргата на лошадях. Телеги вязли по самые оси. Всё безотрадно: болота да камыш, и серое небо над головой.

– Ну да теперь привыкли. Овец пасла... А вы как? Слышала, что в Кочки попали...

– Да. До весны на квартире жили, теперь в землянке. Бабушка совсем плохая. Может умереть с минуты на минуту. Или уже умерла...

– И я отца оставила на эту... на Давидкину жену. Мужа и Давида ещё той зимой забрали, а у неё ребёнок – два года. Из-за ребёнка и не взяли. Я уехала, так на ней теперь дитё двухлетнее и наш отец семидесяти пяти лет. А она бестолковая – боюсь, обоих уморит. Ох, помню я маму, как она сидела за столом и грызла сусличью ножку... Эта картина со мной будет до смерти. Тогда она умерла от голода, теперь, видно, очередь отца.

– Моя мама тоже это вспоминает. Она же тогда у вас была... Видела. Тоже мучается, что ничем не могла помочь.

– На ней были родители твоего отца. Что она могла?! Так уж, наверно, Бог хотел.

Наконец, первый военный передал списки, по которым выкликал фамилии, второму – тому, кто следил. Тот расписался, подложив планшет. Ага! Первый сдал, второй принял.

– По вагонам!

Двери отъехали. Полезли в вагоны. Напротив входа – печка-буржуйка. С обеих сторон от неё двухэтажные нары. Занимайте места! Где лучше? Рядом с печкой? Но и дверь недалеко, а плотно ли заделаны щели? Нет, лучше посередине. Это не Мария решила, а тётя Эмма, которая даже сейчас сохранила умение рассуждать практически. Она займёт место снизу, а Мария с Милькой над нею. Все из Паульского будут вместе. Снаружи что-то застучало, заскребло по стене вагона. Хлоп – упала крышка, закрывавшая окно. Хлоп – упала вторая. Повезут с комфортом. Даже зимними пейзажами можно любоваться. Если конечно, будет охота...

Вот и двери закрыли.

– И-и-и! – завизжал гудок, и понёлся по соседнему пути поезд, загрохотал сотнею колёс. Замелькали в окнах чужие вагоны. Невольно потянулись вверх, чтобы посмотреть. А когда тот состав пронёсся, оказалось, что они сами уже едут. Куда? Пока на запад.

Расселись по местам. Стали знакомиться:

– Кто из Паульского? – спросила тётя Эмма.

Никто не откликнулся.

– Из Фишера есть кто-нибудь? – раздался голос женщины лет двадцати пяти.

– Я из Фишера, – сказала высокая рябая женщина, откинув с головы на плечи шаль.

– А почему я вас не знаю?

– Как твоя фамилия?

– Ирма Шульдайс.

– А, ну я знаю твоих родителей. А ты меня и знать не можешь. Когда я уехала из Фишера, ты была маленькая девочка. Меня зовут Фрида Кёниг.

– Слышала. Родители что-то о вас говорили. А мы вот с сестрой едем, с Эллочкой. Ей ещё восемнадцати нет. Мама сказала: смотри за ней как следует – чтобы не простудилась, не голодала, не надорвалась...

– Не надорваться у нас вряд ли получится, – засмеялась Фрида.

– А из Маркштадта кто-нибудь есть?

– Есть...

– Из Филиппсфельда?...

– Из Нидермунжу?⁹

– А из Москвы есть? – это высокая, статная блондинка в красивом пальто, словно бичом щёлкнула среди птичьего гомона.

⁹ Населённые пункты в АССР НП.

Все мгновенно стихли. Не понимают, серьёзно спрашивает или шутит.

– А вы из Москвы? – посмотрели, как на чудо.

– Из Москвы.

– Из самой Москвы? – восхитилась Эмилия. – А как вас зовут?

– Ольга Цицер.

– А меня Эмилия. Миля.

– Вот и познакомились, – сказала Фрида. – Давайте-ка печку затопим, да чай вскипятим.

Жарко горят дрова в печке. Стучат колёса. Приспособили на печку ведро с водой. Ждут, когда вскипит. А уже и есть хочется. Не пора обедать? – Раз хочется, то пора.

– Ну-ка, доставай кружки! – командует Фрида. – Получай кипяток!

Попили кипятка. Каждому досталось всего по кружке, но по намёрзшему телу сразу пошло тепло. Мария достала кусок хлеба с холодной, картошкой, сваренной в мундире.

– Сейчас бы стол, вообще ехали бы как в плацкарте...

А в три часа встали на неизвестной станции. Дверь открылась.

– Принимай обед!

– Так вы и обедом будете нас кормить?!

– А как же: раз в день положено горячее питание.

На вагон почти двухведерная кастрюля супа. Не ахти какой суп, но картошка в нём есть, и крупа, и даже капельки жира на поверхности золотятся.

Если так дальше пойдёт, можно жить.

Трое суток стучали колёса. Иногда в их перестук вплетался металлический звон: знали – едут по мосту. Кое-где стояли подолгу. Тогда кто-то из начальства приходил с охраной, выпускали из вагона по двое.

На четвёртые сутки среди ночи почувствовали – поезд сбавляет ход. Вместо тук-тук-тук, тук-тук-тук, колёса стучали: тук... тук, тук... тук. Всё тише, тише. Потом: у-у-у – загудели тормоза, и качнуло вперёд. Встали. Кто-то бежал вдоль состава, хрустя снегом. Дверь отъехала. Пахнуло холодом.

– Выходи из вагонов!

Неужто приехали?! Нервная дрожь спросонья. Темно – хоть глаз коли.

– Господи, зажгите же кто-нибудь спичку. Шаль не могу найти.

– Тётя Эмма, да вот же она, вы её под голову клали.

– Ах, да...

Женщины-трудармейки быстро собираются: суетливо заталкивают в мешки и рюкзаки свои платки, куски хлеба про запас – и все вместе – к двери. Внизу белый снег – прыг в него.

– Ой, нога-а!

Вверху чёрное небо. Ни луны, ни звёздочки. Тишина.

Откуда-то с края земли:

– Ту-у-у – паровоз.

– Где мы? Батюшки! Ни людей, ни строений. В степи выгрузили!

Время встало. Живы ли? Глухота.

– Ух – порыв ветра в лицо и грудь. Ледяной. Со снегом.

– Ах, Мария унд Йезус!

Вздрогнули – лязг железный. Их поезд тронулся. Зачем? Сейчас бы в вагоны, к железным печкам! Ещё вчера вечером было так хорошо, уютно, так угрелись.

– Постойте! А мы?

Но вагоны – мимо. Тёмные, с нагретыми местечками. Как родные дома – в никуда. Навсегда. Какое сиротство! Эшелон ушёл, как жизнь. Вокруг ветер и глушь. А за путями-то не степь – фонарь горит, башня водонапорная. Ещё дальше – пакгаузы. Окраина какой-то станции, но далё-ё-кая окраина.

Отупение. Холод.

– Чего ждём?

– Кома-а-нды, – кто-то очень жалобно.

– А где командиры?

Нет командиров.

Во! Вчера ещё было полно сопровождающих! Где они?

– С поездом уехали! Нас бросили! В ночи, в степи!

Не бывало такого – страшно!

– А может нас специально – чтоб замёрзли?!

– Неужто!? Невозможно!

– Всё возможно!

Мамочка, где ты? Знаешь, как мне плохо!

Четыреста человек топчется – снег стонет. Ветер опять порывами, прожигает пальто.

– Мама, я замерзаю!

Сколько времени прошло – неизвестно.

– Женщины, да пойдёмте же на станцию!

– А где станция?

– Да вон же!

– Нельзя! Не велено. Засу-у-удят!

Опять молчание. Снег уже скрипит меньше – утоптали.

– Как хотите, а я пойду, – это та девушка в красивом пальто, что спрашивала, нет ли кого из Москвы – Ольга Цицер.

Толпа распалась. От неё потянулась человеческая струйка к башне, к складам... Наконец и в самых робких страх наказания пересиливается страхом остаться одним. Двинулись и Мария с тётей Эммой и Эмилией.

Кажется, светает. Снег белее стал. Следы от колёс – похоже, на дорогу вышли. Три точки вдалеке. Двигутся навстречу. Надежда. Будь что будет, но не одни на свете. Ближе... Двое верхом и санная упряжка.

– Эй! Вы немки? С поезда?

– С поезда.

– А чего прётесь? Сказано же – на путях обождать! – Из саней встал военный – из их поезда.

– Никто ничего не говорил.

– Ишь растянулись на версту. Стой! Подравняйся!

Верховые спешили, пошли вдоль строя, считают. Назад идут – опять считают. Не сходится у них что ли? Ну, давайте же быстрее! Замёрзли до смерти! Кажется всё, садятся. В санях на коленках опять подписывают бумаги. Значит, их сдали и приняли. Пошли. Наконец-то утро. Край неба забелел. Ветер бьёт, а идти далеко. Может, только через час пришли – город не город, село не село.

Трудармейки не чувствуют ни рук, ни ног.

Все ли дошли? Никто не отстал? Да кто знает – не оглядывались. Наверное, все.

– Спросить, что ли, где мы?

– Товарищ военный! Какой это город?

– Какой надо!

– Военная тайна что ли?

Привели в баню. Выдали по куску нестерпимо вонючего мыла. Приказ: обязательно вымыть им голову – от вшей.

В предбанниках раздевались партиями. Народу – не протолкнуться. А в помывочной вода – еле тёплая. Не только не согреешься – а наоборот, все трясется.

У Марии коленки обморожены, у тёти Эммы – пальцы на руках и ногах. Гусиным жиром бы смазать, да закутать махровым полотенцем.

Ага! Даст сейчас кто-то и жира, и полотенце! А снаружи уже торопят: быстрее, быстрее, многим ещё надо помыться!

В предбаннике, кажется, холоднее, чем, когда заходили. От мокрых тел поднимается пар. Челюсти дрожью сводит, зуб на зуб не попадает.. Господи, и обсушиться нечем! Одежду – прямо на мокрое тело. И опять торопят – на улицу, на мороз и жгучий ветер.

– Стройся!

А как строиться? Большинство – колхозницы. Конечно, немало и горожанок из Энгельса и Маркштадта¹⁰, но и они на заводах, да в учреждения никогда не строились, а в Сибири тем более! Всех тянет в кучу, а не в ряд.

– Не толпись, не толпись! В шеренгу становись! Эх, бестолковые бабы!

Двое военных кое-как построили женщин.

– Налево!

Налево – это куда? Одни в одну сторону повернулись, другие в другую...

– Линкс, Эмма-танте¹¹.

– Вот именно! Линкс! Шагом марш!

Пошли. Хоть трудовая, но всё же армия. Только жалкая: солдаты её в пимах, повязаны платками по самые брови, да ещё и носы норовят спрятать. Кто в чём: в старых и не очень старых пальто, в ватниках, а кто и в тулупе, правда одна в щегольском пальто. Красивая, стройная, высоко держит голову – та, что про Москву спрашивала...

За плечами мешки: а что там – много ведь не утащишь! Как там в приказе о мобилизации было сказано: явиться с запасом белья, постельными принадлежностями, кружкой, ложкой и 10-дневным запасом продовольствия.

Ведут в город. А может и не город вовсе, а большое село. Барак рубленый. Над входом: «Столовая». Один военный встаёт в строй посередине, растопыривает руки, загораживая путь, другой командует: «Передние, заходи!».

Остальные остаются, топчутся на морозе.

Народу много. Вдоль окон в два ряда столы, столы, столы. В углу слева три раздаточных стола. На среднем алюминиевый бак. Над ним пар. Трудармейки подходят, не раздеваясь, затылок в затылок. Три женщины-раздатчицы разливают суп в алюминиевые миски – наливают почти до краёв. Дальше отдельный стол. С него дают кусочек хлеба – чёрного, как смоль. Суп горячий – радость для намёрзшегося организма, но почти пустой: несколько картошинок на дне, да немногочисленные листочки капусты гоняются друг за другом.

– *Lauder Wasser, lauder Wasser!*¹² – говорит высокая пожилая женщина-трудармейка.

Едят долго, приятное тепло растекается по телу, добирается до самых ступней. У кого-то даже испарина на лбу. Хлеб, такой чёрный, но вкусный: сладкий, сладкий. Мало только. Не удержались – достают из мешков сухари от десятидневного-то запаса – что в поезде не съели. Но пора и честь знать – снаружи мёрзнут подружки по несчастью.

Трудармейки сдают миски на третий стол, тянутся к выходу. Навстречу следующая партия:

– Лаудер вассер! Лаудер вассер! – встречает их одна их раздатчиц. Она уже выучила новое выражение и ей весело повторять необычные слова.

Согрелись, но голод остался – только слегка утишили его.

Тучи между тем разошлись, выглянуло низкое зимнее солнце.

¹⁰ Маркштадт – так до 1942 года назывался город Маркс.

¹¹ Тётя (нем.).

¹² Одна вода (нем.)

Дождались пока все поедят. Опять команда строиться – теперь в две шеренги.
– Направо!
Повернули направо.
– Шагом марш!
Пошли – уже из города... Или из села – так и не поняли!
– А куда идем?
– Куда надо, туда и идём!
– Далёко хоть идти?
– Недалече, девяносто километров. Дня за три – четыре дойдем.
– А вы с нами?
– Так точно! Доведём и сдадим, как положено – в полном составе.
– Да ладно, старшина, тайны-то нету. В село Отважное¹³ идем. Нефтепровод будете строить.
– Отважное, это где?
– Жигули? Слышали?
Жигули!!! Господи! Там Куйбышев, потом Саратов, через Волгу – Энгельс, а между Куйбышевым и Саратовом Маркштадт – Это же почти рядом с домом!!

¹³ В настоящее время – входит в состав города Жигулёвска.

Ольга Ивановна

В посёлок Отважный пришли только на четвёртый день к обеду. Посёлок строился. Проходили мимо каких-то котлованов, каркасов, ждущих обшивки и засыпанных опилками и стружками; рубленых и кирпичных строений.

Пустыри, бараки, за ними двухэтажные дома – наверное центр посёлка. Потом деревенские дома села Отважное. А дальше на севере надо всем этим возвышались заснеженные горы – с лесом и без него. Они казались громадными, а домики у подножья сказочно крохотными – для гномиков, а не для людей. В просветах между горами блестел лёд Волги.

Наконец их привели к рубленым баракам, по виду довольно новым, но построенный наспех, для временного проживания.

Барак было четыре. Трудармейки построились на площадке между ними. Откуда-то явилась женщина в тулупе, тёплой шали и вязанных варежках. Сопровождавшие военные опять выкрикали доставленных по списку, и те делали два шага вперёд. Женщина крыжила их в своих бумагах карандашом. Открывив сотню, скомандовала:

– В первый барак.

Открывив вторую:

– Во второй барак.

Марию и тех, кто был ей знаком по поезду, отправили в последний четвёртый.

Вход в него был точно посередине.

Из тамбура двери вели налево и направо в две длинные комнаты. В каждой стояла печь с железной трубой и вдоль стен двухэтажные нары. Разобрали места. Марии досталось верхнее место. Снизу устроилась тётя Эмма. Слева от неё на верхних нарах Эмилия, а справа – сверху и снизу сёстры Шульдайс.

Вскоре за ними пришла женщина и повела обедать. Столовая – такой же длинный барак, только вдоль стен не нары, а столы и скамейки.

На обед дали суп, с несколькими крохотными кусочками какой-то рыбы. На второе – кашу из крупы, происхождение которой было сложно определить.

Вернулись в свой барак. Тётя Эмма расположилась поспать. Эмилия, порывшись в вещевом мешке, достала гребень, распустила косу и принялась расчёсывать густые золотого цвета волосы.

Вдруг хлопнула дверь и в комнату вошла женщина, которая принимала их на площади. Увидев Эмилию, удивлённо замерла и воскликнула:

– Рапунцель! Живая Рапунцель¹⁴!

Но, спохватившись, сказала уже громко и властно:

– Слушай сюда, девчата! Я начальник вашей колонны Ольга Ивановна Зоммер. Вы прибыли в распоряжение строительно-монтажного управления номер три треста «Востокнеф-тестрой». Будете копать траншею для нефтепровода. Дисциплина военная. Подъём в шесть часов. В семь пятнадцать завтрак в столовой, где вы только что были. В семь тридцать идёте получать кирку, лом и лопату. В восемь часов – начало рабочего дня. Обед – полчаса: с тринадцать до тринадцать тридцать. Конец рабочего дня в девятнадцать. С девятнадцать до девятнадцать тридцать – ужин. В столовой же будете получать хлеб на следующий день. Кто выполняет норма, получает шестьсот грамм, кто не выполняет четырёхста.

– А норма какая? – спросил кто-то.

¹⁴ Девушка с длинной золотой косой – персонаж сказки братьев Гримм

– Норма четыре кубометра. Невыполнение приказа, невыход на работу – сначала карцер. Я вам, девчата, не советую туда попадать. Так что слушаться обязательно! Если карцер не будет помогать: суд и тюрьма. Поняли меня?

– Поняли.

– Ещё есть для меня вопросы?

– Есть, – сказала Ольга Цицер. – Вы работали в Маркштадском кантоне?

– Я много где работала.

– Вы не были в тридцать втором и тридцать третьем годах уполномоченной по коллективизации?

– Я тебе не обязана рассказывать, где я работала.

– А всё-таки...

– А всё-таки, ты будешь первая, кто узнает, что такое карцер. Как твоя фамилия?

– Цицер Ольга Георгиевна.

– Сейчас за тобой придут.

– У меня ещё просьба есть. Не называйте нас девчатами! Какие мы вам девчата?! Здесь есть женщины намного старше вас. Учтите.

Ольга Ивановна повернулась и выбежала вон, хлопнув дверью. За Ольгой, действительно, вскоре пришли. Вернулась она через трое суток.

Валенки

Конец сентября. За огородами медленно течёт навстречу великой Волге речка Караман. Где-то за Волгой скатывается в тучи красное солнце. По-осеннему холодный воздух толкается в открытую дверь летней кухни. Мерно и убаюкивающе гудит ручной сепаратор. Это мать перегоняет надоевшее молоко. У двери сидит серый полосатый кот Мурре, довольно облизывая усы. Потом начинает умываться. Отбился, бродяга, от дома, но вечером исправно приходит получать положенное ему молоко.

Мария с отцом только что приехали с бахчи. В руках у неё корзинка с паслёном. Собирать паслён её любимое занятие. В этом году его видимо-невидимо.

Отец переносит с телеги в амбар жёлтые тыквы. В амбаре заработанное отцом и матерью на трудодни зерно. В зерне уже закопаны дыни и арбузы. Тыквы отец закапывает туда же: это лучший способ сохранить бахчевые деликатесы до зимы. Последнюю – самую большую тыкву – отец вкатывает в летнюю кухню.

– Смотри, какая! – говорит он матери. – Не поднимешь – больше тележного колеса! – отец любит преувеличивать.

Тыква перекатывается через порог и сотрясает пол. Звенит посуда в шкафу. Мурре испуганно порскает под стол, и некоторое время сидит там, бросая из глаз своих тревожные жёлто-зелёные огоньки. Потом, прижав уши, на полусогнутых лапках осторожно крадёт из кухни, в ужасе косясь на тыкву. Выбравшись наружу, пускается стрелой и одним махом перепрыгивает через соседский забор. Смотри, разбойник, Соломон Кондратьевич уже обещал прибить тебя за украденных цыплят! С весны троих за тобой числит!

Мать заканчивает сепарировать. Сепаратор продолжает по инерции петь свою грустную вечернюю песню, всё тише, тише. Наконец смолкает.

Паслён постоит до завтра – ничего ему не сделается. Завтра рассыпят его на противнях, поставят на плиту в летней кухне и будут сушить. Зимой паслён распарят в воде, загустят крахмалом, добавят сахара, и мать испечёт пироги (шварцбернкухе¹⁵). Вытопит печь, посадит их на деревянной лопате на под, закроет заслонкой. Запах тогда! Какое счастье, когда в доме пахнет пирогами!

Мария берёт ведро с обратом, мать кастрюльку со сливками, идут в дом. Сумерки. В доме прохладно. Старая бабушка уже спит в своей комнатке.

Мать включает на кухне свет. Отец приносит из амбара большущий арбуз и прямо светится от удовольствия, что сможет потешить любимую дочь.

– Таких у нас ещё не было. Послушай, как звенит, – он щёлкает по полосатому боку. – Дай-ка нож!

Нож едва пробивает корку, как раздаётся треск. Трещина бежит впереди лезвия.

– Хорош! – говорит отец, любуясь на качающиеся на столе половинки, с блестящими на срезе крупинками сахара. – Попробуй, – говорит он и отрезает огромный ломоть.

– Ой, как вку-усно! – Мария стонет от удовольствия и от ломящего зубы холода, а отец просто счастлив.

Арбуз необыкновенно сладкий. Хотя у отца они все самые вкусные и прежде не бывалые, на этот раз он прав – Мария такого ещё не ела. А вот с хлебушком! Семечки в ладонь, потом на тарелку. Отец вырезает самый лучший кусочек – сахаристую сердцевину – и подаёт дочери. Мария переполнена сладким холодом, от которого начинается приятный озноб. Она прыгает в постель. Сейчас свернётся калачиком, подберёт коленки к подбородку, угреется... Как здорово засыпать, угревшись. А послезавтра пойдёт в Марксштадт, в педучилище с одно-

¹⁵ паслёновый пирог (нем.)

курсниками – Сашкой Мулем и Эрной Дорн. Соседка её – Милька Бахман – тоже ходит с ними, но в техникум механизации.

И вот уже перенеслась Мария в предвыпускной май и видит залитый утренним солнцем класс, и Genosse¹⁶ Нагель, шурясь в потоке весёлого света, рассказывает им о методике преподавания пения в начальных классах. Для примера приводит песню, со словами о Ворошилове:

Genosse Woroschilow
Führt vom Sieg zum Sieg...¹⁷

– Genosse Муль, повторите, – говорит он Сашке, который для Марии никакой не геноссе, а просто сосед по парте и друг детства.

Высокий, худой Сашка встаёт и повторяет: «Геноссе Ворошилов...», упирая на звук «и».

– Nein, nein, Genosse Muhl! Nicht Woroschilow! Sie wissen doch die Regel¹⁸: «-жи, -ши пишется через «и». Слышится «ы», а пишется «и». Noch einmal!¹⁹

– Геноссе Вороши-и-илов...

– Verstehen Sie doch, Genosse Muhl!²⁰, – Нагель подходит к Сашке, – Пишется Вороши-и-илов, а произносится Ворош-ы-лов. Voll den Mund!²¹ Сашка будто не понимает и настаивает на своём варианте. Геноссе Нагель краснеет. На лице выступает пот.

Наконец, с пятого или шестого раза геноссе Нагель добивается нужного произношения.

– Ах, геноссе Муль, геноссе Муль... – говорит он, вытирая платком полное лицо.

– Ах, геноссе Нагель, геноссе Нагель, – отвечает Сашка, обнимая учителя за плечи. – Der Kaul hat vier Stolper, aber bef doch²².

Сейчас можно и пофамильярничать – через месяц выпуск. А за ним целая жизнь – яркая, как этот майский солнечный свет...

Но почему же никак не согреться?! И это солнце её, Марию, сегодня не греет. Что-то случилось страшное – от солнца не тепло, а жуткий холод. Он становится всё сильнее, достаёт повсюду, вот уже пробирается к ногам... И ещё что-то тревожит Марию: какой-то отвратительный запах. У них в доме никогда такого не было! Она просыпается и вываливается из счастливого сна в ужасное настоящее.

Уже две недели она в селе Отважном, вернее, в посёлке нефтяников с тем же названием и вместе с другими трудармейками копает траншею под нефтепровод.

Ночь. Сквозь маленькие окна бревенчатого барака светит луна. Её саму не видно, она разбилась во льду замёрзших стёкол на множество разноцветных огоньков и освещает ряды двухэтажных лежанок, сбитых из досок. Лежанки расположены так же, как в плацкартном вагоне места в смежных купе, только там между ними стенка, а здесь ничего нет, и вши с одной головы свободно путешествуют на соседнюю.

В бараке спит около ста женщин, может чуть больше – три бригады. Кто храпит, кто стонет, кто бормочет во сне. В конце барака большая печь с железной трубой, которая тянется под потолком к середине барака, и переломившись коленом, выходит через потолок наружу.

¹⁶ Товарищ (нем).

¹⁷ Товарищ Ворошилов ведёт от победы к победе (нем)

¹⁸ Нет, нет, товарищ Муль, не Ворошилов! Вы же знаете правило... (нем.)

¹⁹ Ещё раз! (нем.)

²⁰ Поймите же, товарищ Муль... (нем.)

²¹ Полным ртом! (нем.)

²² Der Kaul hat vier Bej, aber stolpert doch. – Конь и о четырёх ногах спотыкается (диалект немцев Поволжья). Игра слов: Муль поменял существительное на глагол и глагол на существительное, получилась: «У коня четыре спотыкалки, а он всё равно молится».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.